

Жизнь моя болеет.

Энвер Мамедханлы

Больше в этот мир — ни ногой.

Ариф Абдуллазаде

Часть персонажей этого романа — исторические личности, но не стоит искать исторической достоверности в каждом эпизоде, да и в целом, на каждой странице произведения. Исторические личности в этом романе — всего лишь «герои автора», увиденные и оцененные им, будь то князь Павел Дмитриевич Цицианов или же юный персидский принц и наследник — Аббас Мирза Каджар.

Исторический колорит в этом произведении — отражение раздумий и всего прочувствованного автором по мере знакомства с историческими фактами, а исторические герои здесь тоже «свои», существующие лишь для автора неисторические персонажи.

Пусть историки не ведут поиски всех приведенных имен, писем, различных исторических эпизодов и ситуаций, так как в архивах они ничего не найдут. Пусть не обращают внимания и на штрихи и детали романа, не совпадающие с историей. С этой точки зрения автора утешает, что тут немало и моментов, по мысли автора совпадающих с историей, важных с позиции историзма, что тоже, вероятно, немало.

Эльчин

Все ЕГО чувства находились внутри некоей невесомости, пустоты, нет, эти чувства не были внутри невесомости, невесомость была в этих самых чувствах, ибо эти чувства не были внутри, не приходили извне, ибо извне тоже не было, как не было ничего физически ощутимого; эти чувства просто разлились вокруг.

Впрочем, здесь (где?) не было и окружности, окружностью было все, во все стороны

была лишь одна прозрачность, и эти чувства внутри этой прозрачности были повсюду, поэтому в том видимом измерении ОН видел вокруг все.

Для НЕГО не существовало ни противоположности, ни тыла, по сути, не было и «сторон», была общая, не имеющая сторон прозрачность, и в НЕМ было такое ощущение, что ОН — посреди этой цельной прозрачности, но на деле здесь не было и середины, и казалось, ОН глядел отсюда (откуда?) на то видимое измерение за прозрачным маревом волн.

ЕГО ощущение сознавало, что никто ЕГО не видит, и в ЕГО как бы медленно начавшей пускаться ростки и с этими ростками пробуждавшейся памяти возникла паника: ведь если ОН глянет в зеркало — СЕБЯ не увидит, так как увидеть ЕГО невозможно... Впрочем, и паника исчезнет, потому что и ЕГО САМОГО — нет.

Но если ЕГО не было, то как он видел — даже то, что не мог до конца еще осознать? Не мог, словно те прозрачные чувства не позволяли ЕМУ прочувствовать все в целостности.

Кем, чем ОН был? Этого до конца ОН никак осознать не мог, и те чувства, как и ОН сам, были совершенно невесомы — прозрачно невесомы, между тем та ЕГО прозрачная и невесомая субстанция — та, что существует сама по себе, независимо ни от чего другого, — состояла именно из этих чувств.

Сквозь эти прозрачные чувства ЕГО прозрачной и невесомой субстанции прошла так не согласующаяся с этой прозрачностью и невесомостью волна растерянности, и ОН был убежден, что эта растерянность пройдет, улетучится, это некая временная растерянность, что

взгляды той Головы, что глядит на НЕГО с того видимого измерения, тоже временны, позже эта растерянность исчезнет.

Теперь волны марева понемножку таяли, и, наконец, ЕГО пробудившаяся память осознала, что та Голова, глядящая на НЕГО из того видимого измерения, — голова ЕГО САМОГО, но эта внезапная информация не заставила ЕГО вздрогнуть, никоим образом не испугала, так как ЕГО субстанция была бесплотна и невесома.

ОН был, и ЕГО не было. И эта непостижимость, неведомость, родившиеся между этой субстанцией и небытием, были чужды ЕГО бесплотной и невесомой субстанции.

Это было все еще непостижимое ощущение: что-то случилось и что-то еще случится, но что случилось и что случится? Этого пока еще понять, осознать ОН не мог, все это пока еще было непостижимым ощущением.

Какая-та сила влекла ЕГО, ОН сознавал, что должен уйти, улететь, но куда лететь? Этого не знал и не понимал, но должен был лететь, этот полет был абсолютно обязательным. ОН осознал эту абсолютную обязательность, убежденность в абсолютной обязательности этого полета разлилась по ЕГО бесплотной и невесомой субстанции.

ОН уже понимал, что удерживает ЕГО то видимое измерение, что пока еще ОН не может, оторвавшись от этого измерения, полететь навстречу силе, что притягивает ЕГО. Отчего, почему? ЕГО бесплотная и невесомая субстанция этого не была способна понять, осознать.

ОН наконец уяснил, что в этом видимом измерении для НЕГО нет ни близости, ни дали, нет прошлого и будущего. И в этот миг пронесшаяся сквозь ЕГО память информация напомнила, что глядящая на НЕГО с того видимого измерения Голова — ЕГО Голова — не имеет тела, но это ЕГО вовсе не обеспокоило, так как вся ЕГО субстанция бесплотна и невесома.

ОН хотел лететь навстречу силе, притягивающей ЕГО, словно магнит, эта сила оторвет, унесет ЕГО от всего, что он видит, но то видимое измерение и глядящая на него с того измерения Голова не отпускали ЕГО...

ОН больше не желал глядеть на Голову, чувствовал, что находится на пороге проникновения в абсолютное успокоение, но взгляды глядящей на НЕГО Головы словно не давали такой возможности. Поэтому ОН больше не хотел смотреть на Голову, но это от ЕГО желания не зависело...

Уже который год зима в Баку выдавалась умеренной, но 6 февраля 1806 года по христианскому летоисчислению сначала подул пронизывающий ветер, как будто природа отрывалась за прежние годы, затем пошел мокрый снег, и Гусейнкули-хан, совершенно не переносящий холода, распорядился, чтобы принесли мангал и поставили его на середину залы. Пылающие угли мангала словно еще больше нагнетали общую тревогу, страх, растерянность, и сидящие вкруговую, сложив под себя ноги на подушечках, брошенных на знаменитые ковры Гаджи Мухтара, члены дивана¹ — уважаемые беки, бакинские аксакалы, приглашенные с окрестных сел духовные лица, ахунды, — молчали, устремив глаза на эти краснеющие угли.

Уже почти два часа шел диван, и Гусейнкули-хан, человек по характеру нетерпеливый, своенравный, не любящий пространных речей, часто даже не вникающий в суть того, что говорилось, на сей раз никого не обрывал; каждый, кто просил слова, высказывался, правда, мысли уносили хана вдаль. Особо не задумываясь над тем, что говорилось, быть может, впервые с той поры, как взшел на ханский престол, он ощущал внутри себя острую, как лезвие бритвы, насущную необходимость в дельном совете, предложении — и это было подобно тому, как тонущий непроизвольно хватается за соломинку — Гусейнкули-хан и сам понимал это.

Члены дивана говорили на сей раз недолго, произнеся пару-тройку фраз, замолкали, паузы между высказываниями длились куда дольше; впрочем, о чем говорить, все и без того ясно, как белый день, смысла в речах не было, и даже Мешади Гасанага — начальник канцелярии дивана, всегда аккуратно и четко выполняющий свои обязанности, — не находил ничего, что мог бы набросать в лежащую перед ним тетрадь.

В тот день определялась судьба Баку.

В зале было тепло, пылающие в мангале угли порой потрескивали, и от этого треска, казалось, вздрагивали не только приближенные, а будто и сама осевшая на залу тишина.

Несмотря на тепло, сидящий на троне Гусейнкули-хан по-настоящему мерзнул, и в этой тишине, дрожа, он думал, что ломит его кости не стужа, не пронизывающий ветер с дождем за окном, а то положение, в котором очутилось ханство: На-

¹ Диван — совет высших сановников при дворцах мусульманских стран.

местник Цицианов вцепился в его горло сильнее пастушьей собаки, вцепившейся в шею волка.

Глядя на пылающие угли в мангале, Гусейнкули-хан усмехнулся: о каком волке толкуешь, где тот волк, что осмелится противостоять такой псине? Подобно дикому животному, что, желая защитить, прячет, переносит с одного места на другое своих детенышей, чтобы другие хищники, рыскающие день и ночь в поисках дичи, найдя, не разорвали их на куски, Гусейнкули-хан пытался защитить свое ханство, но теперь это было просто невозможно. И кто знает, чем провинилось, что совершило несправедливого Бакинское ханство, что Всемогущий вот так отвернулся, лишил его своих милостей?

Шесть столетий тому назад, в 1191 году, когда правитель азербайджанского государства Атабеков Султан Музаффедин Кызыл Арслан, незадолго до своей гибели в результате покушения, совершил нашествие на Ширван, захватил его столицу Шемаху, Ширваншах Ахситан перенес столицу в Баку, возвел в два ряда защитные крепостные стены. Но разве могли устоять эти стены перед русскими пушками, с моря и с суши нацеленными на крепость? Сейчас, когда Наместник Цицианов, с более чем шестью тысячами солдат на подходе к городу, а корабли генерала Завалишина снова перекрыли вход в Бакинскую бухту, разве мог противостоять им Гусейнкули-хан со своими четырьмя сотнями и даже с сотней конницы в придачу?

Те времена, когда бакинский люд, как говорится, смиренно опустив голову, преспокойно сеял и жал, тянул из колодцев нефть, занимался рыболовством, поставлял в города Золотой Орды, московские княжества, в Европу ковры, шелк, все, начиная от сушеного инжира, кишмиша до олив, — тогда не только азербайджанские, но и купцы из соседних стран, расползшись, подобно муравьям, вывозили из Баку в Туркестан, Аравию, Индию, Астрахань, на южные берега Каспия различные товары, привозя взамен другие, — нынче те славные времена остались в прошлом. Теперь с одной стороны Россия желает подмять под себя Баку, с другой стороны — Каджары, усилившись, берутся за мечи: нет, мол, Баку — наш!

Но разве и в те прежние времена мало было пролито на этой земле крови? Всемогущий создал эту землю благодатной, именно оттого черные тучи все время нависают над ней.

И сегодня причиной безысходного положения является то, что Бакинское ханство вывозит за рубеж дубленые овечьи и козьи шкуры, из которых шьют тулупы, папахи и обувь, плотные, из овечьей

и верблюжьей шерсти, сукно, хлопок, шелк, почти такая же, как в прославленных коврах Гаджи Мухтара, эти ковры также отправляются судами из бакинского порта в Энзели, а оттуда в Стамбул. Шувелянский шафран популярен во всем мире, трюфели, собираемые по весне в Новханах, считаются в Европе, особенно во дворцах королей Франции, самым лакомым продуктом, бакинская соль идет по цене золота, но главное, конечно же нефть, — словом, Бакинское ханство, как аппетитный курдюк, притягивает к себе ненасытные дьявольские взгляды.

Гусейнкули-хан прикрыл воротом тулупа грудь, ему было по-настоящему зябко, в последние годы он постоянно стоял перед выбором: русские или Каджары, Каджары или русские? Ясное дело, ни один из вариантов ему не улыбался: он был словно муравей под приподнятой пятой этих чудищ, рано или поздно наступят, раздавят.

Сейчас именно таков и был расклад.

В свое время Ага Мухаммед-шах, создав государство Каджаров, решил подчинить себе, как он это сделал на Юге, все ханства Северного Азербайджана, ожидая беспрекословного подчинения. Гусейнкули не проявлял явной позиции, тянул время, пытался прикрыться заверениями дружбы, братства, религиозного единства. Шах же, известный своей жестокостью, равной уму, хорошо знал цену заискиваниям и двуличию хана. И чем это кончилось? Ага Мухаммед-шах, захватив, разорил Шемаху, а затем обложил Баку такой данью, потребовал столько золота и драгоценностей, что прежде полная казна ханства оказалась опустошена.

Когда Ага Мухаммед-шах, пойдя походом на Карабах, тридцать три дня держал в осаде Шушуну, так и не сумев одолеть шушинскую крепость, с присущей ему яростью двинул свои войска в Картли-Кахетию и в течение нескольких дней полностью подмял ее под себя, именно тогда до слуха Гусейнкули-хана дошло, что на одном из сборищ Ага Мухаммед-шах в разоренном им дотла, превращенном в пепелище Тифлисе бросил по его адресу: «Среди этих карликовых ханов самый двуличный лис — Гусейнкули!» — да и сегодня отношение его племянника, Фатали-шаха, мало чем отличается от отношения его лютого дяди — Гусейнкули-хана это отлично знал.

Но какой смысл сейчас вспоминать все это?

Пытаться разыгрывать какую-то шахматную партию не было надежды ни на грамм, Гусейнкули-хан хорошо знал Цицианова: это — конец, пощады не будет, Наместник дал только день, чтобы

без кровопролития полностью подчиниться, принять российское подданство.

Тлеющие в мангале угли понемножку покрывались тонкой пленкой пепла, и Гусейнкули-хан, отведя взгляд от мангала, посмотрел на молчащего все это время Молла Музаффера.

— Молла, — сказал он, — ты-то почему молчишь?

Молла Музаффар, всегда отличавшийся правдолюбием, и на сей раз не стал кривить:

— Ваше величество, я беспомощен что-то предложить...

— Видать, на этот раз вопрос решен окончательно, не так ли? — вымученно улыбнулся Гусейнкули-хан.

Молла Музаффар. Вероятно, вспомнил тот, восьмилетней давности разговор, но снова не произнес ни слова.

Восемь лет назад в весеннюю пору — это были опасные времена — впрочем, когда они были не опасными?! — Ага Мухаммед-шах, выйдя из Тифлиса, снова ринулся на Карабах, на сей раз ему удалось захватить Шушу, а Ибрагим Халил-хан бежал в Белоканы. Шах был зол на Гусейнкули-хана за то, что тот вручил ключи от ворот Баку тогдашнему Наместнику Зубову; чем мог обернуться кадjarовский гнев, отлично знали ханы и именитые беки по обе стороны Аракса, в том числе, конечно же, Гусейнкули-хан. Отец нынешнего царя Александра, едва взойдя на престол, сразу же отозвал войска, и Цицианов убрался вместе с ними, русских в Бакинском ханстве не осталось, но это уже не имело значения. Ярость Ага Мухаммед-шаха отдавала кровью: шах дважды звал его в Шушу, но Гусейнкули-хан под разными предлогами, не желая предстать пред голубыми очами шаха, отнекивался. Но в третий раз тот прислал за ним специальную депутацию, не поехать на сей раз к Кадjarу было нельзя, это дорого бы обошлось Бакинскому ханству, и Гусейнкули-хан направился в Шушу — навстречу собственной гибели.

В то время Молла Музаффар тоже был среди провожавших, и хан, прощаясь с ним, сказал:

— Прощай, Музаффар! Знаю, обратного пути нет!..

— Доброго пути тебе, хан! Никогда нельзя предугадать волю Всевышнего!

— На сей раз воля Аллаха известна! — сказал Гусейнкули-хан.

— Не следует вмешиваться в дела Аллаха! — мягко оборвал его Молла Музаффар.

Через два дня хан добрался до Шуши, и в тот же вечер шах призвал его к себе. Голубые глаза

шаха сверкали яростью, его безбородое лицо было перекошено ненавистью, и хотя с тех пор прошло восемь лет, но и сейчас, когда Гусейнкули вспоминал те голубые глаза, то перекошенное от гнева, без единого волоска лицо, его всего пронзала волна страха. Визгливым, ставшим от ярости еще более тонким голосом Ага Мухаммед-шах кричал, что он, то есть Гусейнкули-хан — предатель, утром шах казнит его, а всех его домочадцев вышлет в Тегеран, и тут же поручил, чтоб завтра был готов указ о смещении Гусейнкули с ханского трона.

А той же ночью был убит сам Кадjar.

И Гусейнкули-хан, и Молла Панах — тоже ждавший своей казни визирь Ибрагим Халил-хана, знаменитый поэт, писавший стихи под псевдонимом Вагиф, — не подверглись смерти по приговору Ага Мухаммед-шаха Каджара, а были осчастливлены милосердием Аллаха. Молла Панах был не только замечательный поэт, но и столь же умный и изворотливый государственный деятель, именно он отправил Екатерине от имени Карабахского ханства оправленную драгоценными камнями трость, позже даже поговаривали, что одним из организаторов убийства Каджара был и он, Молла Панах.

Но сейчас не было просвета даже в игольное ушко.

И внезапно вдруг Гусейнкули-хану вспомнилось одно стихотворение Моллы Панаха, и в голове зазвучали начальные строки этого стихотворения.

Я правду искал, но правды снова и снова нет:
Все подло, лживо и криво — на свете прямого нет.
Друзья говорят — в их речи правдивого слова нет,
Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.
Брось на людей надежду — решенья иного нет.

Перевод Константина Симонова

И хан еле сдержался — время поджимало, — чтобы не прочесть про себя до конца это длинное стихотворение.

Гусейнкули-хан снова устремил глаза на мангал — слой серого пепла понемногу накрыл краснеющие угли, — затем, отведя глаза от мангала, стал по одному обводить взглядом собравшихся: о чем задумались эти люди, о судьбе своей или судьбе ханства? Отчего удручен он сам, Гусейнкули, что его тревожит — собственная судьба, судьба ханства или будущее апшеронцев?

Хан заерзал на троне.

Хватит, достаточно укорять себя.

Снова наступила тягостная тишина, в это время с места что-то хотел сказать Махмуд-бек, но Гу-

сейнкули-хан, глянув в его кипящие страстью глаза, произнес зло:

— Ты — помолчи! Известно, что ты нам скажешь!

Мангал постепенно остывал, и, казалось, с уходящим теплом улетучивались какие-то крохи — если и оставалось у собравшихся что-то из этих крох — надежд. Гусейнкули-хан прикрыл веки, стал привычно массировать челюсть, это означало, что сейчас будет озвучено окончательное решение.

— А может... Может, попросим русского Наместника, чтобы... — произнес кто-то совершенно убитым голосом.

Хан, не открывая глаз, оборвал его на полуслове:

— Наместник Цицианов не из тех, кто принимает просьбы. У него самого не бывает просьб, все, что говорит, не просьба — приказ! — И хан, обратившись к интенданту Рзе, сказал: — Встань-ка! Сколько у нас людей?

Подняв интенданта и задав ему этот вопрос, Гусейнкули-хан снова внутренне усмехнулся: буд-то услышит другое число, да и был ли среди приглашенных на этот диван человек, кто бы не знал, что под ружьем во всем ханстве где-то порядка полтысячи человек.

— Пятьсот одиннадцать, — ответил интендант, поднявшись.

— И у меня четырнадцать всадников! — подав с места голос Махмуд-бек.

С явным, безнадежным сарказмом в голосе Гусейнкули-хан сказал:

— Отлично!.. У него четырнадцать бойцов! Пойдет и разнесет в пух и прах почти десятитысячную армию Наместника! Утопит его корабли! А все орудия сбросит в море! Молодец! Мои поздравления! Может, пойдешь, захватишь и Петербург?! А взяв в плен царя Александра, привезешь его сюда и, заточив в клетку, станешь показывать народу, будто цыган медведя, не так ли?!

Никто из собравшихся даже не улыбнулся, не только потому, что опасались Махмуд-бека — это само собой, — но и потому, что за этой издевкой таилась внутренняя горечь и все ощущали ее. Эта горечь, как прежде тепло мангала, охватила всю комнату, и серый пепел тлеющих углей будто тоже осел на эту горечь, еще больше усугубляя чувство безысходности.

С тем же горьким сарказмом хан продолжил:

— Ну как?! Как мы поступим?

— Будь нация едина, могли бы замахнуться и на самого Александра! — сказал с болью в душе Махмуд-бек.

Махмуд-бек был племянником — сыном его сестры Гусейнкули-хана, и то, что хан любил его даже больше своих детей, не было тайной ни для кого не только во дворце, но и во всем ханстве. Умеющий идти на компромиссы, не склонный к самостоятельности, всегда ищущий кружные пути, способный хитрить и интриговать, даже иногда, когда позволяло время, почитывающий стихи, Гусейнкули-хан видел в этом красивом пылком молодом человеке, уже достигшем тридцатилетия, то мужество, решимость, непреклонность, которых не доставало ему самому, о чем он переживал всю жизнь. И, видимо, оттого его любовь к племяннику была столь велика, что Гусейнкули-хан был абсолютно уверен, что если в этом продажном мире найдется хоть кто-нибудь, включая всю дворцовую знать и даже его собственных отпрысков, никогда не способный на предательство, то этим человеком явится именно Махмуд.

Говоря слово «нация», Махмуд-бек имел в виду не только жителей Апшерона и даже не весь Азербайджан со всеми его ханствами, а всех живущих на свете тюрок — пылкие пантюркистские убеждения этого молодого, именитого бека, разумеется, были хорошо известны всем собравшимся.

— Ладно, удаль твоей нации перед нашими глазами! — сказал Гусейнкули-хан. Нам она известна! — Редко когда Гусейнкули-хан был столь разгневан. — Это мы знаем, национальный безумец! А сейчас? Что ты будешь делать сейчас? Завтра Цицианов ждет ответа! Завтра! Не через три, пять дней — а завтра! Скажи! Скажи, чтоб мы услышали, что ты предпримешь?

— Буду сражаться, как Джавад-хан, и погибну!

Никто из сидящих полукругом на коврах в зале людей ничуть не сомневался, что Махмуд-бек будет верен своему слову.

Окончательно выведенный из себя Гусейнкули-хан заорал:

— А потом? А потом что? Об этом ты подумал? Чтобы Цицианов превратил Бакинское ханство в такие же руины, как Гянджу? И, переименовав, назвал его именем очередного гяура?! Так?! Я тебя спрашиваю?

Махмуд-бек, вскочив, хотел было что-то еще сказать, но Гусейнкули-хан буквально зарычал:

— Садись! Сиди и помалкивай! От тебя еще мо- локом пахнет!

Не столько окрик, сколько внутреннее уважение к хану заставили Махмуд-бека, прикусив язык, сесть и замолчать.

Начальник канцелярии Мешади Гасанага был настолько удручен этой словесной перепалкой, что и теперь не занес в тетрадь ни единого слова.

А Гусейнкули-хан, казалось, сам решил чуть смягчить напряженную атмосферу:

— Хоть стой, хоть падай!.. Султан Селим не желает осложнять отношений ни с Россией, ни с Каджарами. Сейчас он занят реформами¹, да поможет ему Бог, но Баку ему даже во сне не снится...

Хан снова устремил глаза на мангал.

Корабельные орудия Завалишина нацелены на крепостные стены, правда, и прошлым летом тот же Завалишин, по приказу Цицианова бросив якорь в Бакинской бухте, требовал от Гусейнкули-хана сдать город, однако тогда бакинцы смогли оказать сопротивление: Завалишин осыпал ядрами Баку, но в конце концов, видимо, ядра кончились, а отряд Гусейнкули-хана в четыреста всадников сумел опрокинуть русских пехотинцев, не позволив им пробиться в город. На сей раз положение было иным, Цицианов снова отправил Завалишина в Бакинскую бухту, а сам, возглавив шеститысячный корпус, угрожающе навис над Баку. Пушки превратят город в развалины, а в том, что Наместник поступит именно так, Гусейнкули-хан нисколько не сомневался.

Намерения Цицианова были известны: после подчинения Ширванского и Бакинского ханств река Аракс превратится в четкую границу между русской империей и Каджарами, это, конечно же, было начальной целью: аппетиты царя Александра простирались намного дальше, и Цицианов был тем самым человеком, который признавал значение для России планов государя, мог оценить по достоинству эти планы и проводить их в жизнь.

Условия Наместника были следующие: Баку обретает статус портового города, в нем размещается войсковая часть в тысячу человек — русские называли его гарнизоном, — ежегодно хану выплачивается зарплата в тысячу золотых рублей, словом, Бакинское ханство стирается с карты Южного Кавказа.

— Можно мне? — попросил слова Шариф-бек, толмач Гусейнкули-хана.

Все, в том числе и сам хан, отлично знали убеждения Шариф-бека, но несмотря на это, кивком головы он дал согласие.

— Господа! — Шариф-бек поднялся. — Добро и зло — поборитесь. Мы должны найти общий язык с русскими. Наше единение с русскими — сегодня это путь, ведущий в науку, просвещение. Я сознаю, условия ультиматума тяжелые, но не следует погружаться в траур, править тризну. Таков ход истории. Одно время миром правили арабы, наука и культура были связаны с их именами. Затем пришли османы. Но сейчас мы должны видеть и знать, что мир уже принадлежит Европе, России. Санкт-Петербург, господа, может стать для нас окном в Европу... Россия состоит не из одних цициановых, важно понимать это... В России много здравомыслящих, прогрессивных людей, их авторитет в обществе никак не ниже влияния цициановых. Россия, господа, сегодня на пороге великого возрождения... В России прокладываются дороги, развиваются промышленность, строительство, торговля, осваиваются новые промыслы, что тоже привносит новое качество этому развитию. В России открываются университеты, гимназии, школы, идет подготовка переводчиков, перекладывающих на русский язык произведения европейских ученых, писателей...

Собравшиеся оторопело вслушивались в речь Шарифа-бека, часть из них не понимала до конца, о чем твердит толмач, другие пребывали в таком страхе и смятении, что им было не до сентенций Шариф-бека.

А Шариф-бек продолжал:

— Россия сегодня оплодотворена большим просвещением и культурой, серьезной наукой и литературой. Приняв российское подданство, при условии, что будем верны данному слову, мы тоже обретем пользу от движения России к просвещению и культуре. И наши дети, господа, получив образование в Петербурге, Москве, в Европе, вернутся назад и в свою очередь станут просвещать народ...

Шариф-бек распалялся все больше и больше, но Махмуд-бек оборвал его:

— Лучше бы тебе, Шариф-бек, не возвращаться из Петербурга, мы сейчас гордились бы, что там есть наш земляк, охотно прислуживающий русским!

Свободно владеющий русским и французским, хранящий в своем доме множество книг на этих языках, толмач Шариф-бек, получив образование в Стамбульском университете, отправился в дальние края, поехал по Европе, побывал в том числе во Франции, задержался в Санкт-Петербурге и, проучившись какое-то время там, вернулся в Баку. Через пять лет после этого — это было время, ко-

¹ Султан Селим III при помощи специально приглашенного французского генерала Себастьяна проводил в армии реформы на европейский лад, но османское общество того времени не поддержало Султана Селима, довести реформы до конца не удалось, Султан был сброшен с трона и задушен.

гда Наместником являлся Кнорринг¹, — какая-то шпана ограбила, отняла все товары прибывших в Баку русских купцов, и специально прибывший по этому делу в Баку русский консул в Тегеране Ваксенберг вел долгие переговоры с Гусейнкули-ханом, с тем чтобы украденные товары были возвращены хозяевам. Правда, из украденного немало перепало и самому хану — это само собой, — и разве станут грабители возвращать украденное?

Переговоры Ваксенберга окончились ничем, Гусейнкули-хан, одарив его льстивыми обещаниями и личными подарками — обшитым изумрудами и сапфирами кисетом, ста фунтами соли и десятью золотыми монетами, — отправил его обратно в Тегеран, консул с признательностью принял дары, даже попробовал на зуб каждый империал. Но как только Ваксенберг выбрался из Баку, он поднял такой тарарам, что по его настоянию командующий российской флотилией на Каспии Мочаков двинул корабль «Кизляр» в бакинский порт, обстрелял город ядрами так, что пришлось-таки возвращать товары русским купцам. А Гусейнкули-хан, желая отвести от себя еще большую беду, сперва отправил Шариф-бека в Тифлис к Кноррингу с извинениями, затем, поняв, что дело оборачивается совсем худо, послал все того же Шариф-бека в Петербург с прошением к только-только вступившему на трон Александру «принять под свое постоянное и высокое покровительство Бакинское ханство».

В Петербурге Шариф-беку дал аудиенцию вице-канцлер Куракин² и вручил ему «Высочайший указ» императора о принятии Бакинского ханства под свое покровительство, а также собственноручное письмо Гусейнкули-хану с сообщением о высочайшем указе царя. Его величество Александр наказывал, чтобы Бакинский хан строил отношения мира и дружбы с соседними ханствами, чтоб азербайджанские ханы тесно общались, заключали друг с другом дружеские союзы.

Когда Шариф-бек, читая, стал переводить царский указ и письмо Куракина, внимательно слушавший его Гусейнкули-хан сказал:

— Шариф-бек, ты, видимо, неверно переводишь...

— Ваше величество, — поразился Шариф-бек, — можете быть уверены, я перевозжу точно как изложено в указе и в письме!

Гусейнкули-хан усмехнулся:

— Ну и что с того, что так написано? Этого они хотят? Отнюдь!.. Как бы не так! Враждуйте друг с другом, а мы станем расклеивать вас по зернышку. Этого он желает, а не того, что пишет! Понял, Шариф-бек?!

...И на том нелегком диване Шариф-бек — один из родовитых и известных бакинских беков — резко оборвал Махмуд-бека:

— Я не прислуга и не такой невежда, как ты, Махмуд-бек!

Махмуд-бек словно не поверил своим ушам.

— Что? Что ты сказал? — пораженно спросил он.

Гусейнкули-хан, угрожая пальцем, остановил Махмуд-бека.

— Ты — сиди! — И, закрыв глаза, словно обращаясь не к дивану, а самому себе, сказал: — Кончили!

Собравшиеся поняли, что хан наконец обнародует свое решение, хотя и без того все знали, каким будет оно, это решение; кто-то из духовных лиц — ахундов, не сдержавшись, расстроено произнес:

— Конец нашей вере!

Тоска и горечь этих слов, казалось, повлияли на Махмуд-бека больше, чем надменная реплика Шариф-бека и окрик хана. Ударив рукой по колену, он отрезал:

— На земле сотни тысяч мусульман! Ты больше горюй о своем народе! Отчего горести собственного народа столь чужды вам, аксакал? Откроете рот, тут же толкуете о вере, исламе, а о бедах своего народа забываете, разве горести людей чужды исламу? Отчего вы об этом не думаете?

На сей раз Гусейнкули-хан, будто не слыша слов Махмуд-бека, скинул с плеч на спинку трона тулуп, приподнялся.

— Господа! — произнес и замолчал.

Вдруг в его голове вновь зазвучали строки из стихотворения визиря Моллы Панаха:

Я правду искал, но правды снова и снова нет:

Все подло, лживо и криво — на свете прямого нет.

И Гусейнкули-хан, с трудом изгнав из головы строки Молла Панаха, нарушил тишину:

— Выбора нет. На одной чаше весов — унижающий нашу честь ультиматум Цицианова, на другой — гибель и разор нашего народа. Я не вижу иного пути, чем, проглотив унижение, вручить ключи от Баку Наместнику... Иной возмож-

¹ Русский военачальник немецкого происхождения, генерал-лейтенант. барон Карл фон Кнорринг был до Цицианова главнокомандующим русской армии на Кавказе.

² Князь А. В. Куракин — русский государственный деятель и дипломат. За любовь к драгоценным камням его называли Бриллиантовым князем.

ности защитить жителей и сам Баку нет... Тяжелые условия, но остается снова уповать на тех же русских... Во времена безумного Петра русские тоже брали Баку, а чем это кончилось? Сами ушли, убрались... Всего лет десять назад войска Екатерины захватили Баку, помните, тогда этот самый Цицианов стал комендантом города. Прошло совсем немного времени — Екатерина скончалась, а отец нынешнего Александра взял

и отозвал войска. Даст Бог, может, снова доведется увидеть день, когда русские сами уйдут отсюда.

Уже ломило не только в костях, боль пронизывала все тело. Гусейнкули-хан, наклонившись, взял с небольшого столика рядом с тронном серебряный, с шелковой кистью колокольчик, зазвонил в него. Тем самым диван завершился.

Продолжение следует.